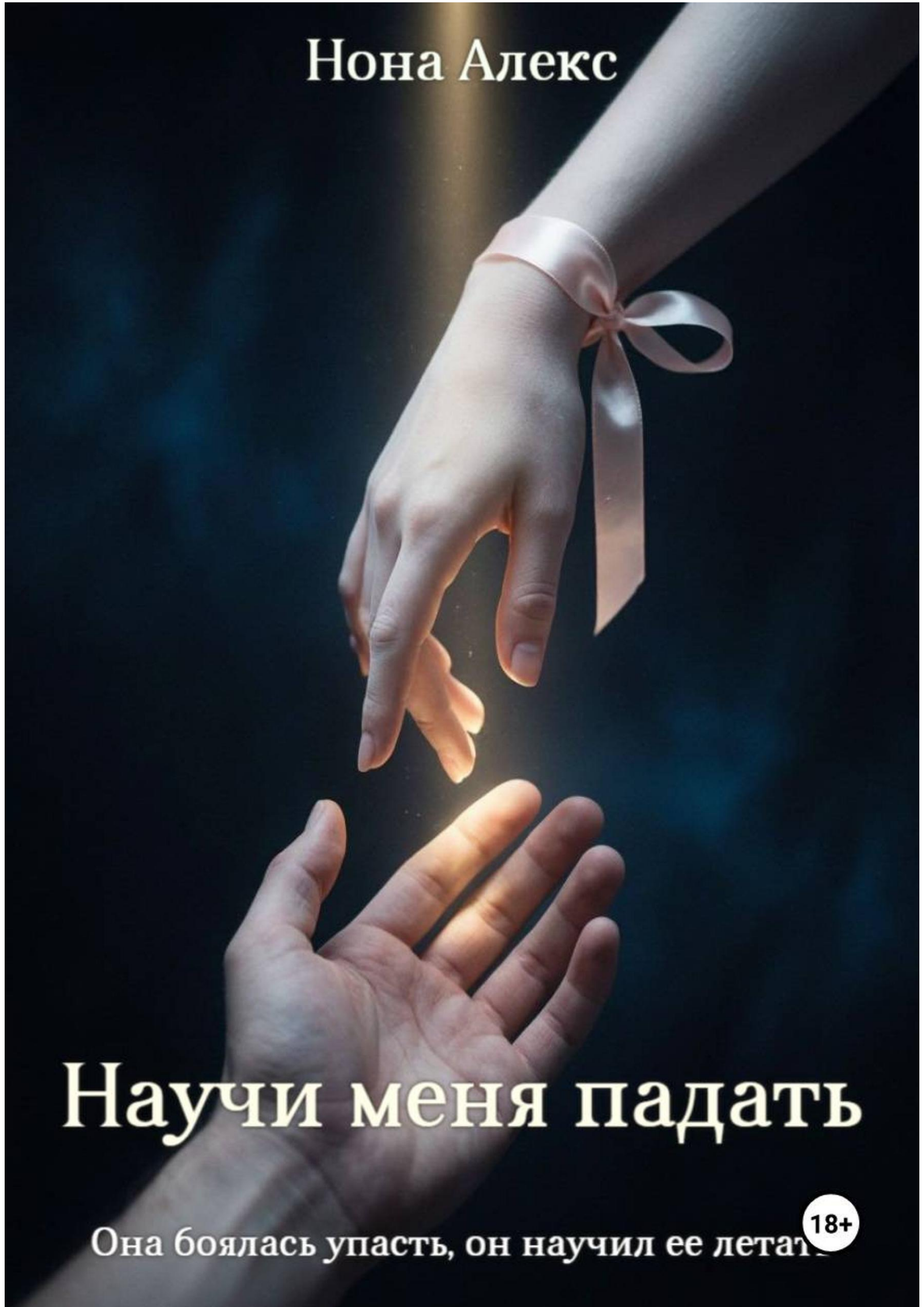

Нона Алекс
Научи меня падать
Она боялась упасть, он научил ее летать
18+

Нона Алекс

Научи меня падать

«Автор»
2026

Алекс Н.

Научи меня падать / Н. Алекс — «Автор», 2026

Кристина Нестерова — «Снежная Королева» Академии танца. Идеальная осанка, ледяные глаза, ни одного лишнего движения. Кристина научилась держать спину прямо, чтобы никто не заметил, как внутри всё рассыпается.Евгений Земцов — уличный танцор и разгильдяй, любимец Академии и головная боль педагогов. Он пишет курсовые за мажоров, живёт в съёмной квартире и прячется за ленивой улыбкой от родителей, которые видят в нём только «проект».Их ставят в пару для гала-концерта. Номер называется «Падение и полёт» — про доверие, про то, как один человек отпускает контроль, а другой ловит его в падении. Чтобы станцевать этот номер, им придётся сделать то, чего они избегали всю жизнь: открыться друг другу. Ей — перестать быть статуей. Ему — перестать прятаться за шутками. И обоим — поверить, что кто-то действительно их поймает.«Научи меня падать» — это история о первой любви, которая приходит не вовремя. О доверии, которое страшнее любого падения. И о том, что счастье — оно вообще тихое.

© Алекс Н., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Пролог 5
Глава 1 8
Глава 2 10
Интерлюдия 1 14
Глава 3 16
Глава 4 22
Глава 5 25
Конец ознакомительного фрагмента. 30

Нона Алекс
Научи меня падать

Пролог

Ольга. (11 лет назад)

— Всё хорошо, малыш чувствует себя отлично. Готовы узнать пол?

Врач улыбается, и я сжимаю руку Паши. Его ладонь тёплая, чуть влажная — он всегда волнуется перед УЗИ, хотя никогда в этом не признается. Я киваю: конечно, готовы.

— У вас мальчик.

Паша выдыхает так, будто держал воздух с самого порога. Улыбается, широко, по-мальчишески, и говорит:

— Ну вот, я же говорил. Мужик будет! Значит, точно Михаил.

— Да, — я кладу ладонь на живот, чувствуя, как под кожей что-то шевелится, тянется. — Будет наш Миша.

Мы выходим из кабинета, и Паша держит меня под локоть бережно, как будто я стеклянная. По дороге заезжаем в магазин за тортом. Он выбирает шоколадный, с вишней, потому что это Кристинин любимый, и потому что «это же праздник, Оля, у нас сын». Продавщица улыбается нам вслед, и я думаю: вот оно, счастье, простое, тёплое, в бумажном пакете с тортом.

— Как думаешь, Кристинка обрадуется? — спрашиваю я, когда мы выходим на улицу. — Что будет братик?

— Конечно, — Паша приобнимает меня за талию, помогая сесть в машину. — Когда вырастет, будет её защитником.

Я устраиваюсь на сиденье, пристёгиваюсь. Снег за окном идёт медленно, крупными хлопьями, и музыка из радио, тихая, знакомая, которую я слышала сто раз.

Мы едем, паша говорит о том что нужна квартира побольше, ведь комнаты у детей будут разные.

А потом что-то происходит, что-то не так.

Музыка как будто замолкает. Не выключается, а просто становится далёкой, как из другой комнаты. Я вижу голубя на тротуаре. Он серый, нахохлившийся, а потом начинает взлетать, и делает это в тысячу раз медленнее, чем должен. Крылья поднимаются, опускаются, и я успеваю подумать: почему он такой медленный?

Я поворачиваю голову к Паше. Он смотрит на дорогу и что-то говорит — очень медленно, губы шевелятся, но звука нет совсем. Я вижу, как двигается его горло, как он моргает, как хмурится, и не слышу ни слова.

А потом я поворачиваю голову к боковому окну.

В нас летит черный, огромный внедорожник. И он летит не медленно — он движется очень быстро.

Удар.

Резкий, настолько сильный, что машину переворачивает и выкидывает на встречную полосу. Темнота в глазах, и звуки — страшные, громкие, скрежет металла, звон стекла.

Я чувствую, что-то мокрое и липкое на руках и на лице. Открываю глаза. Всё перевёрнуто. Я вижу Пашу — он весь в крови, пытается выбраться, что-то говорит. Снова темнота.

— Оля. Оля, открой глаза.

Голос откуда-то издалека.

— Оля, будь со мной. Оля, пожалуйста, открой глаза.

Я пытаюсь. Веки тяжёлые, как свинцовые. Открываю и вижу Пашино лицо всё в крови. Глаза снова закрываются. А потом — плач.

Резкий, громкий, как будто прямо в ухо. Я не понимаю, откуда он, и я чувствую, как что-то в груди бьётся, как будто хочет выбраться наружу.

Пожалуйста, пожалуйста, пусть он замолчит.

Плач становится тише. Нет, нет, Миша, это Миша, нет, пожалуйста...

...

Я открываю глаза.

Белый потолок. Светлый, ровный, с длинной лампой посередине. Пахнет чем-то медицинским. Тишина такая плотная, что кажется, будто её можно потрогать.

Я пытаюсь пошевелиться. Тело не слушается, тяжёлое, чужое, как будто набитое ватой. Я чувствую боль в боку, в рёбрах, тупую, ноющую, но она где-то далеко, на периферии.

Я пытаюсь вспомнить. Что-то было, что-то важное. УЗИ, улыбка врача, «у вас мальчик». Паша. Торт. Снег. Голубь….

Авария.

Я резко сажусь — и тут же падаю обратно, потому что в боку что-то вспыхивает, острое, как нож. Я хватаю ртом воздух, вцепившись в простыню, и паника накатывает волной.

Паша. Где Паша? Он был в крови. Где он?

Я оглядываюсь — палата пустая, стул у окна. Я хочу позвать, но голос не слушается — из горла вырывается только хрип.

Дверь открывается и входит врач — молодой, в белом халате, с усталым лицом и папкой в руках. Он видит меня, и на секунду останавливается.

— Ольга Викторовна, вы пришли в себя. Хорошо. Вам нельзя резко вставать...

— Где Паша? — перебиваю я. Голос хриплый, чужой. — Мой муж. Где он? Что с ним?

Врач подходит ближе, садится на стул, и я вижу в его глазах что-то страшное.

— Ваш муж жив, — говорит он. — Он в порядке. Несколько переломов, ушибы, но жизни ничего не угрожает. Он в другой палате.

Я выдыхаю, Паша жив. Я киваю, чувствуя, как слёзы подступают к горлу, но это не слёзы облегчения.

— А... — я кладу ладонь на живот. И останавливаюсь.

Живот не такой, как был. Я смотрю на врача, и в его глазах я читаю ответ раньше, чем он открывает рот.

— Ольга Викторовна, — говорит он тихо. — Вы потеряли ребёнка.

— Что?

— Травма была слишком сильной. Мы боролись, но...Мне очень жаль.

— Нет, — я качаю головой. — У нас мальчик. Миша. У нас всё хорошо. Врач сказал, что всё хорошо. Мы торт купили. Паша сказал, что это праздник...

— Ольга Викторовна...

И тогда что-то внутри меня ломается.

Я не помню, как начинаю кричать. Просто в какой-то момент понимаю, что кричу громко и страшно. Я даже не кричу, я ору каким-то звериным воем, и врач вскакивает, пытается меня удержать, а я отталкиваю его, потому что мне не нужны его руки, мне нужен мой сын, мой мальчик.

— Нет! — кричу я. — Нет, нет, нет!

Я срываю капельницу, и что-то тёплое течёт по руке, бью кулаками по кровати, по подушке, и я не могу остановиться, потому что, если я остановлюсь — я умру. Я чувствую это.

Врач что-то говорит, но я не слышу. В палату вбегают ещё люди, кто-то держит меня за плечи, и пытается вставить мне что-то в руку, а я всё кричу и кричу, и в этом крике всё,

что произошло: авария, голубь, торт, «у вас мальчик», Паша в крови, плач, который стих, и тишина, которая наступила после. И я проваливаюсь в эту тишину и темноту.

И в этой темноте я слышу только тихий детский плачь.

Глава 1

Кристина

Балетная пачка пахнет нафталином и старыми духами «Красная Москва».

Я нашла её на антресолях, когда мне было двенадцать, — засунутую в чёрный мусорный пакет, как будто кто-то хотел выбросить, но в последний момент передумал. Пачка пожелтела по краям, атлас потрескался, но на внутренней стороне пояса ещё можно было разобрать вышитые инициалы: *О. Т.* (Ольга Третьякова — девичья фамилия моей мамы).

Мне было восемь, когда всё случилось. Я помню её другой. Помню, как она заплетала мне волосы перед школой и напевала что-то из «Щелкунчика». У неё был тихий, немного дребезжащий голос, но абсолютный слух. Она никогда не фальшивила. Её руки пахли ванилью и сливочным маслом — она пекла печенье по субботам. *«Кристинка, смотри, у этого человечка будет шоколадная улыбка»,* — говорила она и выдавливала глазурь из пакетика.

Я помню, как она смеялась — запрокидывая голову, прикрывая рот ладонью, будто стесняясь собственной радости.

А потом случилась авария. Мама была на шестом месяце беременности и моего брата должны были назвать Мишей.

Миша не родился. Мама выжила, но та мама, которая пекла печенье и напевала Чайковского, осталась в той машине — на переднем сиденье, в луже крови и осколков лобового стекла. Домой вернулась другая женщина. С маминым лицом, мамиными руками, но с чужими, пустыми глазами.

Сначала она просто молчала, сидела на кухне, подперев щёку ладонью, и смотрела в одну точку на обоях. Папа говорил: *«Кристинка, не трогай маму, ей надо отдохнуть, она поправится»*. Я верила и ждала.

Потом появилась валерьянка. За ней — корвалол, и бутылки водки, которые папа прятал за стиральной машиной, а она всё равно находила. Она больше не пекла печенье и больше не пела. Иногда, в самые плохие дни, она разговаривала с тем, кого нет.

— Его бы звали Мишей, — сказала она однажды, глядя сквозь меня в тёмный угол кухни. — У него были бы твои глаза. И Пашины руки. Паша... Паша его убил.

Мне было десять. Я стояла босиком на холодном линолеуме и не знала, куда деть руки.

В школе на уроках ритмики нас учили держать спину: *«Девочки, вы будущие лебеди, а не утки, подбородок выше, ямочку на шее покажи, ямочку!»*

Я показала ямочку. Мать этого не заметила. Она вообще меня теперь редко замечала — я была живым напоминанием о том, что она потеряла, и одновременно доказательством того, что она не справилась.

Теперь мне девятнадцать. Я учусь в лучшей танцевальной академии города. Моя спина прямая, как лезвие. Моя шея — лебединая. Мои пальцы на ногах стёрты в кровь, но я улыбаюсь, когда педагоги хвалят мою технику.

«Нестерова — ты статуя. Безупречная, но статуя».

Они не знают, что каждое утро я выхожу из квартиры, где в раковине лежит немытая сковородка с пригоревшей яичницей, а в коридоре стоит стойкий запах перегара и валерьянки. Они не знают, что мой отец, Павел Алексеевич Нестеров, мастер сборочного цеха на заводе, каждую ночь моет полы в холе бизнес-центра, чтобы оплатить мои пуанты.

Я никому не рассказываю о своей семье. В Академии я — Кристина Нестерова из хорошей семьи. Папа — инженер в строительной компании (неправда). Мама — домохозяйка, занимается благотворительностью (ложь). Мы живём в тихом районе, у нас лабрадор и воскресные обеды с бабушкиным фарфором (чушь, которую я придумала в четырнадцать и повторяю так часто, что почти сама в неё поверила).

В Академии меня зовут Снежной Королевой. Я не против, потому что снег белый, чистый, безупречный. Никто не догадывается, что под снегом — грязь.

И сегодня меня поставят в пару с человеком, который, кажется, умеет чуять грязь за версту.

Его зовут Евгений Земцов. Он танцует свой уличный стрит так, будто ломает себе кости заново, и собирает в другом порядке. Он громкий, наглый, вечно жуёт жвачку и смотрит на меня как на музейный экспонат — с ленивым любопытством и без капли почтения. Говорят, он из богатой семьи, но съехал от родителей и живёт сам. Говорят, он пишет курсовые за мажоров и зарабатывает больше, чем наши педагоги. Говорят, он лучший в своём стиле, а классику ненавидит.

Когда Аркадий Львович объявил наши фамилии в паре и велел выйти в центр зала, у меня внутри что-то оборвалось, как струна, которую перетянули на полтона выше, чем нужно.

— Ну что, Снежная Королева, — сказал он тихо, так, чтобы слышала только я. — Покажешь, что у тебя под короной?

Я подняла подбородок выше.

— А ты уверен, что выдержишь?

Где-то в глубине зала Аркадий Львович хлопнул в ладоши. Начался отсчёт.

Глава 2

Кристина

Я проснулась за минуту до будильника. Этому не учат в балетных классах — просыпаться раньше звонка, чтобы успеть натянуть лицо до того, как мир начнёт на тебя смотреть. Тело само помнило: сначала пальцы ног, медленно, проверить, не свело ли судорогой после вчерашней растяжки. Потом колени. Потом спина — осторожно, позвонок за позвонком, как бусины на нитке.

Будильник затрясся на тумбочке. Я накрыла его ладонью и сжала, пока он не затих.

За стеной было тихо. Это хорошо — тишина означала, что мать ещё спит. Плохие дни начинались со звуков — звон стакана о край стола, шарканье тапок в коридоре, неразборчивое бормотание, похожее на молитву или проклятие, никогда не угадаешь. Сегодня был хороший день.

Я встала и первым делом застелила кровать, потому что, если в комнате идеально, можно хотя бы на пять минут поверить, что и в остальной жизни тоже. Подушка — по центру. Одеяло — без единой складки. Старый плюшевый заяц, которого я не выбрасываю с восьми лет, — под подушку, с глаз долой. Единственная слабость, которую я себе позволяю.

Квартира Нестеровых — это двушка в хрущёвке на окраине. Кухня пять метров, ванная совмещённая. Обои в коридоре отклеиваются по швам, и папа каждый месяц подклеивает их обойным клеем, купленным по акции в строительном. В гостиной стоит сервант с хрусталём, который мать собирала ещё до аварии, — шесть бокалов для шампанского, вазочка для варенья, сахарница с отбитой ручкой. Хрусталь никто не трогает, на нём пыль. Отец говорит, что это «парадное», хотя к нам никто не приходит в гости уже лет семь.

Я прошла на кухню. Отец уже ушёл — его смена на заводе начинается в семь, но он всегда встаёт пораньше, чтобы приготовить мне завтрак. На плите, накрытая полотенцем, стояла тарелка с овсянкой. Рядом — термос с чаем и записка, написанная крупным, немного детским почерком: *«Кристинка, хорошего дня. Я сегодня на мойку, вечером не жди. Папа».*

Я прочитала записку, «на мойку» означало, что он снова будет мыть полы в бизнес-центре после основной смены. Он никогда не жалуется, он вообще почти не говорит о себе. Только иногда, когда думает, что я не слышу, он заходит в комнату к матери и говорит ей в темноту: *«Оль, ты только поправляйся. Я всё вывезу, ты главное поправляйся».*

Она не отвечает.

Я съела овсянку стоя, глядя в окно на серый двор. В соседнем доме горело всего три окна. В одном из них кто-то делал зарядку — мелькали руки, вскинутые вверх. Я машинально выпрямила спину, свела лопатки, подбородок выше, ямочку на шее.

В Академии это въелось в кровь. Я уже не могла сутулиться, даже когда никто не смотрит. Даже во сне, кажется, лежу с идеальной осанкой. Мать когда-то смеялась над этим: *«Ты у меня как струнка, Кристинка. Спинку держишь — женихи падать будут».* Это было до аварии. До того, как она перестала меня замечать.

В ванной я умылась ледяной водой. Отёков нет — я не ем после шести, даже если очень хочется. В балете лишний вес — это приговор. Не то чтобы меня собирались взвешивать перед входом, как в некоторых училищах старой школы, но я сама себе надзиратель. Килограмм вверх — и поддержка становится тяжелее, партнёр чувствует, педагог видит, все замечают. Нельзя давать им повод.

Волосы — в тугой пучок. Никаких торчащих прядей. Лицо — чистое, без косметики, только бальзам для губ без цвета и запаха. Одежда: чёрные леггинсы, серая футболка, толстовка Академии с логотипом. Сумка через плечо. В сумке: пуанты, запасные ленты, бутылка

воды, яблоко на случай голодного обморока, телефон и старая мамина пудреница, которую я ношу как талисман.

Перед выходом я заглянула в комнату матери. Она спала, отвернувшись к стене. Одеяло сползло на пол, и я поправила его, стараясь не разбудить. На тумбочке стояла фотография — мама в той самой пачке, молодая, смеющаяся, с букетом ромашек.

Я закрыла дверь, выдохнула, надела на лицо улыбку номер три — вежливую, нейтральную, подходящую для общественного транспорта, и вышла в мир, где Кристина Нестерова — безупречная студентка элитной Академии танца, дочь инженера и домохозяйки, девочка без прошлого и без трещин.

Дорога до Академии занимала сорок минут. Метро, потом автобус, потом десять минут пешком через парк. Я люблю это время. В метро можно спрятаться в наушниках и притвориться, что ты — никто, просто тело в вагоне, такое же, как все. В автобусе хуже — там иногда встречаются знакомые, и приходится поддерживать разговор. Сегодня повезло: никого.

Академия выросла передо мной ровно в восемь пятнадцать. Стеклянный фасад, четыре этажа, вывеска с золотыми буквами: **«Академия Современного и Классического Танца»**. Студенты между собой зовут её «Башня» или «Стекляшка». Говорят, архитектор специально спроектировал здание так, чтобы оно отражало небо — символ полёта, стремления вверх. По-моему, просто понты. Но красиво, не отнять.

Я прошла через турникет, поздоровалась с охранником дядей Толей (он единственный, кто знает, что я прихожу первой и ухожу последней). В раздевалке переоделась в тренировочное трико и балетки. Проверила ленты на пуантах — не перетёрлись ли. Всё в порядке.

Зал номер три — мой любимый. Самый старый в Академии, с деревянным полом и огромными окнами во всю стену. Здесь пахнет канифолью, пылью и деревом — запах, который я люблю больше любых духов. Здесь я становлюсь собой. Той версией себя, которая не врёт.

Я встала к станку. Первая позиция. Плие.

Движение потекло само. Тело помнило всё, чему его учили с пяти лет — сначала в районном ДК, где папа платил копейки за абонемент, потом здесь, на гранте, выгрызенном зубами.

Батман тандю. Гран батман. Арабеск. Я не думала, я просто дышала в такт музыке, которую слышала только я.

В зеркале отражалась высокая худая девушка с острыми плечами и застывшим лицом. Она двигалась безупречно. Ни одной ошибки, ни одной лишней эмоции.

Когда-то, очень давно, я танцевала по-другому. Дома, перед мамой, я кружилась по комнате и падала на диван, хохоча. Мама хлопала в ладоши и кричала: *«Браво, балерина! Бис!»* Я не помню, когда перестала хохотать, наверное, в тот день, когда мама перестала хлопать.

— Нестерова!

Я вздрогнула. В зеркале позади меня стоял Аркадий Львович — руководитель курса, сухой старик с палочкой, которую он никогда не использует для опоры только для того, чтобы стучать по полу, привлекая внимание.

— Доброе утро, Аркадий Львович.

— Утро добрым бывает у тех, кто спит до полудня, — отрезал он. — Ты опять первая. Это похвально, но попахивает одержимостью. Танцовщик должен уметь отдыхать, иначе он сгорит.

— Я отдыхаю, — соврала я.

Он хмыкнул и постучал палочкой по моему плечу — легонько, поправляя осанку.

— Завтра в двенадцать общий сбор в зале номер один. Буду объявлять пары на Гала-концерт.

— Хорошо, Аркадий Львович.

Он развернулся и пошёл к выходу, но у двери остановился.

— И да, Нестерова... Партнёр у тебя будет непростой. Морально готовься.

Дверь закрылась. Я осталась одна в пустом зале, глядя на своё отражение.

Непростой партнёр?

Я перебрала в уме всех, с кем могла бы встать в дуэт. Петр Воронцов — высокий, надёжный, из балетной династии, руки как стальные тросы. С ним я танцевала классику весь прошлый семестр. С ним спокойно и с ним я знаю, чего ожидать. Марк Соболев — тоже вариант, техничный, но с ленцой. Никита Корнеев — нет, он на полголовы ниже меня, неудобно в поддержках.

Больше вариантов не было. Классических парней на курсе всего трое. Остальные — современники, стрит-денсеры, экспериментаторы. С ними меня никогда не ставили. Аркадий Львович берёг «чистоту стиля».

Или перестал беречь?

Я тряхнула головой. Неважно, кого бы ни поставили — я справлюсь. Потому что, если я не справлюсь, всё развалится. Мой грант, академия и всё моё будущее.

Я не могу развалиться. Я — статуя, а статуи не падают.

Я вернулась к станку. Плие. Ещё глубже, до жжения в мышцах, до дрожи в коленях.

В коридоре послышались шаги и смех, кто-то громко, нараспев, протянул:

— Земцоов! Ты опять опоздал, Львович тебя прибьёт!

— Переживу, — донеслось в ответ. Голос был ленивый, с хрипотцой, как будто его обладатель только что проснулся и ещё не решил, стоит ли этот день его усилий.

Я смотрела в зеркало, в его дальнем углу мелькнула фигура — высокий парень в мешковатой толстовке с капюшоном, спортивных штанах и кроссовках, которые выглядели так, будто их жевали собаки. Темные волосы торчали во все стороны. В ухе — один маленький серебряный гвоздик.

Евгений Земцов.

Я видела его раньше, конечно. В Академии трудно кого-то не видеть — мы все варимся в одном котле. Но наши орбиты никогда не пересекались. Он — стрит-денс, я — классика. Он — шумная компания в столовой, я — одинокий столик у окна. Он — тот, кто может опоздать на разминку и не получить выговор, потому что Львович смотрит на него с каким-то странным, почти отеческим раздражением. Я — та, кто приходит первой и уходит последней, и Львович меня почти не замечает.

В зеркале наши взгляды встретились на долю секунды. Он смотрел на меня из-под капюшона, как-то... изучающе. Будто прикидывал что-то в уме. Потом уголок его рта дёрнулся вверх, он кивнул мне — коротко, почти незаметно — и исчез из отражения.

Я выдохнула.

Плие. Глубже.

Весь день прошёл как в тумане. Классический станок, растяжка, репетиция кордебалетного номера, который мы готовили. Я двигалась механически, правильно. Педагог по классике, Маргарита Сергеевна, даже сделала мне замечание: *«Нестерова, ты сегодня где-то не здесь. Соберись».*

Я собралась внешне. Внутри крутилось: *«Непростой партнёр»*. Почему Львович сказал это так, будто предупреждал о стихийном бедствии?

К вечеру, когда я переодевалась в раздевалке, зазвонил телефон. Папа.

— Кристинка, привет. Ты как?

— Нормально, пап. А ты?

— Я... — он замолчал на секунду. На заднем плане я услышала женский плач и звон стекла. — Я это, пришлось домой приехать раньше... Кристинка, мама сегодня... в общем, день не очень. Ты не приезжай сразу домой, ладно? Погуляй где-нибудь. Я тут уберусь, и она успокоится. Хорошо?

У меня внутри всё сжалось в тугой узел.

— Хорошо, пап.

— Умница. Я люблю тебя.

— И я тебя.

Он повесил трубку. Я стояла в пустой раздевалке, прижимая телефон к уху, в котором уже звучали короткие гудки. В зеркале напротив отражалась девушка с идеальной осанкой и абсолютно пустыми глазами.

Я убрала телефон в сумку, надела толстовку и вышла в коридор.

В Академии было уже почти пусто — только охранник на первом этаже да пара студентов из современного отделения, репетировавших в зале номер пять. Я пошла не к выходу, а в обратную сторону — к залу номер один. Дверь была приоткрыта и я заглянула внутрь.

На полу, скрестив ноги, сидел Земцов. Перед ним стоял ноутбук, в ушах — наушники. Он что-то печатал, быстро, не глядя на клавиши, и при этом едва заметно двигал головой в такт музыке, которую слышал только он. На экране ноутбука я разглядела открытый документ с заголовком *«Курсовая работа. Экономическая эффективность...»* — дальше было не прочитать.

Он, кажется, почувствовал взгляд. Поднял голову и вытащил один наушник.

— Заблудилась?

Я вздрогнула от прозвища.

— Нет. Просто проходила мимо.

— Проходила мимо зала номер один за час до закрытия, хотя твой зал — третий, в другом крыле? — он ухмыльнулся. — Убедительно.

Я не нашлась что ответить. Он смотрел на меня всё с тем же изучающим выражением, что и утром в зеркале, потом неожиданно захлопнул ноутбук и встал.

— Знаешь, что я думаю, Нестерова?

— Мне неинтересно.

— А я всё равно скажу. Ты ходишь по этой Академии как по минному полю. Боишься ошибиться, боишься расслабиться, боишься, что кто-то увидит, какая ты на самом деле.

Кровь прилила к щекам. Я сжала лямку сумки так, что побелели костяшки.

— Ты меня не знаешь.

— Не знаю, — легко согласился он. — Но у меня нюх на таких, как ты. На тех, кто строит из себя идеальных.

Он подошёл ближе. Остановился в паре шагов. От него пахло кофе и чем-то сладким — жвачка, наверное.

— Завтра Львович объявит пары, — сказал он тише. — Я слышал, он хочет поставить эксперимент. Классика и стрит. Угадай, кто в списке?

— Этого не будет, — сказала я, но голос прозвучал неуверенно.

— Будет, Нестерова. И знаешь, что?

Он наклонился чуть ближе. Теперь я видела его глаза — светло-карие, почти золотые в свете коридорных ламп, с ленивым прищуром и искрами смеха где-то на дне.

— Я не твой идеальный Петр Воронцов. Я не буду держать тебя так, чтобы тебе было удобно. Я буду держать тебя так, чтобы тебе было страшно. А потом — так, чтобы ты перестала бояться. Это разные вещи.

Он выпрямился, закинул ноутбук в рюкзак и пошёл к выходу. У двери обернулся.

— До завтра, Снежная Королева. Выспись. Тебе понадобятся силы.

Дверь закрылась. Я осталась одна в пустом зале номер один. В зеркальной стене напротив отражалась девушка, у которой дрожали губы от злости и от чего-то ещё, чему я пока не знала названия.

Интерлюдия 1

Ольга

(полгода после аварии)

Сегодня закрыли уголовное дело. Причина — смерть виновного. Он так и не вышел из комы, и я так и не посмотрела ему в глаза. Врачи говорят, что он не чувствовал боли, но я надеюсь, что чувствовал. Надеюсь, что где-то там, в темноте, куда он провалился, ему было так же страшно, как было мне.

Он был молодым. Мажор на папиной машине, пьяный в стельку, с такой концентрацией алкоголя в крови, что эксперты потом только качали головами. Он вылетел на красный, даже не притормозив. Вчера он умер, и мне его не жаль: он это заслужил, я его ненавижу.

К нам приходили его родители. Хорошо одетые, с дорогими телефонами, с глазами, в которых не было ни капли вины. Они хотели откупиться, предлагали много денег, и Паша их чуть с лестницы не спустил. Я стояла в дверях и смотрела, как он трясётся, как сжимает кулаки, кричит, — и не чувствовала ничего, кроме чего-то холодного и липкого, что шевелилось где-то под рёбрами, как кровь на моих руках в тот день.

Как всё-таки устроен этот мир: всё в нём завязано на деньги. Жизнь ребёнка — тоже товар, у неё, оказывается, есть цена, и есть люди, которые могут прийти и предложить компенсацию за смерть ребенка. Я ненавижу этот мир, в котором дети умирают, а деньги остаются.

Я сижу в нашей комнате, и в голове у меня детский плач.

Он никогда не прекращается — днём тише, ночью громче, — и иногда мне кажется, что он стал частью меня, как дыхание. В комнату тихо заходит Паша. Он стоит в дверях, и я вижу, как он постарел за эти полгода: ему тридцать четыре, а выглядит на сорок, морщины вокруг глаз, появившаяся седина на висках.

— Оль, — говорит он тихо. — Может, всё-таки сходишь с нами? Кристинке нужна мама. Особенно сегодня.

Сегодня у Кристины день рождения. Помню, как девять лет назад мне принесли её — маленькую, красную, с закрытыми глазами, — и я подумала: вот оно, счастье. Помню, как она росла, как делала первые шаги, как смеялась, как пела вместе со мной, когда я заплетала ей косички. Я помню всё это — и не могу найти в себе силы, чтобы просто улыбнуться ей.

— Нет, — отвечаю еле слышно. — Оставь меня, пожалуйста.

Я не говорю ему, что боюсь увидеть её, такую взрослую, и не выдержать; боюсь заплакать при ней; боюсь, что она увидит меня такой, пустой и сломанной, и запомнит навсегда. Пусть лучше идут без меня. Пусть думают, что я устала, что я больна, что угодно, — только не видят меня настоящую.

Паша стоит ещё секунду, и я слышу, как он тяжело вздыхает, потом дверь закрывается.

Я остаюсь одна.

В квартире так тихо, что я слышу, как капает вода из крана на кухне, гудит холодильник, где-то за стеной сосед сверлит стену, как хлопает входная дверь — Паша и Кристинка уходят. И в этой тишине плач становится громче. Он звенит в ушах, бьётся где-то в висках, поднимается из глубины, и я знаю: если не заглушу его — он меня затопит совсем.

Ноги не слушаются — стали ватными, чужими, — и я иду на кухню, держась за стены. На шкафу, в дальнем углу, за банками с крупой, стоит бутылка вина: красного, полусладкого, «Мерло». Мы купили его на Новый год, чтобы отпраздновать, а потом так и не открыли. Бутылка покрыта пылью, и я смотрю на неё и думаю: я не хочу пить, я просто хочу, чтобы стало тихо. Я хочу, чтобы он замолчал.

Я делаю глоток прямо из горлышка. Кислое, противное, вино обжигает горло, и я морщусь, как от лекарства, но выдыхаю — и делаю ещё глоток. Второй теплее: он растекается по

груди. Третий глоток — и плач стихает. Он не исчезает, просто становится тише, как будто кто-то приглушил звук; я всё ещё слышу его, но он уже не режет уши, он где-то на периферии, как радио в соседней комнате.

Я делаю ещё глоток. И ещё. И вот бутылка почти пуста, а я сижу за столом, и в голове у меня не плач, а мысли. Я думаю о том, что случилось, думаю о том, кто виноват. Сначала о мажоре, о пьяном идиоте, но он мёртв, его больше нет, и я не могу ненавидеть его так, как хотела бы: ненависть к мёртвому — это крик в пустоту, на который никто не отвечает.

Потом я думаю о Паше.

Мысль пробирается через туман, как зверь через высокую траву, и я гоню её, не хочу думать эту мысль, но она уже здесь и не уходит. А если бы Паша ехал медленнее? Если бы был внимательнее? Если бы смотрел на дорогу, а не говорил о квартире, о комнатах для детей, о будущем, которого не будет? Он мог бы всё предотвратить, мог бы увидеть тот внедорожник, мог бы вырулить, мог бы нажать на тормоз — хоть что-то, хоть что-нибудь. Но он не сделал ничего.

Я знаю, что это несправедливо, но я смотрю на бутылку, и в ней вижу своё отражение, искажённое, чужое, и думаю: если бы он любил нас больше, если бы был сильнее, если бы был лучше.

Я допиваю остатки и ставлю бутылку на стол. Она пустая, и я не помню, как выпила столько, но это уже не важно. Я сижу и слушаю тишину: плач стих, впервые за полгода тихо, блаженная тишина, в которой нет ни Миши, ни аварии, ни боли.

— Оля? Оля, что с тобой?

Открываю глаза, Паша стоит надо мной, и его лицо белое, как мел; он трясёт меня за плечо, и в его глазах страх.

— Оля, что ты делаешь?

Я не сразу понимаю, о чём он, а потом вижу, как он смотрит на бутылку. И в этот плач возвращается — не приходит постепенно, а обрушивается, как стена, как удар; он кричит в голове, и я не могу дышать. Нет. Нет. Мне снова нужна тишина, мне снова нужно, чтобы он замолчал.

— Нет, отдай!

Я вырываю бутылку из рук Паши, но там пусто, и я злюсь, толкаю его: мне нужно в магазин, мне нужно ещё вина, мне нужно, чтобы плач замолчал. И вдруг я замечаю на пороге кухни Кристину.

Она стоит в курточке, шапка сбилась на бок, шарф развязался, глаза огромные, испуганные, как у зверька, пойманного в свет фар, и она прижимает к груди маленький контейнер с пирожным.

— Мамочка... — говорит она, и её губа дрожит. — Я принесла тебе твою любимую корзиночку...

Я понимаю, что она всё видела, и на мгновение — одно короткое, ослепительное мгновение — мне хочется кинуться к ней, обнять, сказать, что я люблю её, сказать, что не хотела, чтобы она это видела, сказать, что исправлюсь, что всё будет хорошо. Но плач в голове переходит в крик. Он оглушает, заполняет всё, и я не могу думать, не могу чувствовать, могу только бежать от него.

Я молча прохожу мимо Кристины, хватаю в прихожей куртку, сумку и выхожу из дома. Дверь закрывается за мной с глухим стуком.

Я иду в магазин.

Глава 3

Кристина

В двенадцать ноль-ноль следующего дня я стояла в зале номер один вместе с двумя десятками других студентов и старалась дышать ровно.

Зал номер один — гордость Академии. Огромное пространство с зеркальной стеной во всю длину, балетным станком из тёмного дерева и окнами в потолке, через которые лился холодный февральский свет.

Я встала с краю, у окна, чтобы видеть всех и не быть в центре внимания. Рядом переминалась с ноги на ногу Лиза, моя единственная более-менее приятельница в Академии — рыжая, веснушчатая, вечно всё теряющая и так же вечно находящая в последний момент. Она училась на современном отделении и была единственным человеком, с кем я могла поговорить.

— Говорят, Львович сегодня в ударе, — шепнула Лиза, косясь на дверь. — Вчера кого-то из младших до слёз довёл.

— Он всех до слёз доводит, — отозвалась я, не поворачивая головы.

— Не-е-ет, тут особый случай. Сказал девочке, что у неё прыжок как у беременной бегемотихи.

Я чуть не поперхнулась.

— Он так не говорит.

— Скажи это девчонке с первого курса, которая рыдала в туалете полчаса.

Дверь распахнулась, и Аркадий Львович вошёл в зал — стремительно, как всегда, постукивая палочкой по полу, хотя хромал он едва заметно. За ним тянулись опоздавшие — человек пять, включая Земцова. Женя скользнул в зал последним, встал у противоположной стены, скрестил руки на груди и привалился плечом к зеркалу. Выглядел он так, будто только что проснулся: волосы влажные после душа, под глазами тени, но взгляд цепкий, внимательный. Наши глаза встретились. Он чуть приподнял бровь — мол, *«ну что, готова?»* — и отвёл взгляд.

Я сжала пальцы в кулак.

— Итак, — голос Аркадия Львовича разрезал гул голосов. — Гала-концерт через месяц. Для тех, кто забыл: это не просто отчётник перед родителями с цветочками и слезами умиления. В зале будут директора театров, продюсеры, балетмейстеры и люди, которые решают, кого взять в труппу, а кого — нет.

Он обвёл зал взглядом. Тишина стала плотной, как вата.

— В этом году я решил пойти на эксперимент. Хватит варить классиков в классическом бульоне, а современников — в их собственном соку. Настоящий танец рождается на стыке. На разрыве. Там, где больно и неудобно.

Лиза рядом со мной напряглась. Я чувствовала, как у меня самой деревенеют плечи.

— Поэтому пары на Гала-концерт я формировал не по принципу «удобно и привычно», а по принципу «взорвать сцену или умереть».

Он достал из папки лист бумаги и начал зачитывать фамилии. Пара за парой. Классик плюс современник. Классик плюс стрит-денсер. В зале стоял приглушённый гул — кто-то ахал, кто-то перешёптывался, кто-то напряжённо молчал.

Я слушала и считала. Пять пар. Шесть. Семь. Моей фамилии не называли.

Может, обойдётся. Может, Львович передумал. Может, я останусь в кордебалетном номере, где безопасно, где не надо никому доверять, где я одна, но хотя бы не...

— Нестерова и Земцов.

Лизина рука сжала мой локоть. Я не шевельнулась.

— Классика и стрит, — продолжал Аркадий Львович, и в его голосе мне послышалось что-то похожее на злорадство. — Контемпорари. Тема номера — «Падение и полёт». Хореограф — я. Срок — месяц. Вопросы?

Зал загудел громче. Кажется, с другой стороны, кто-то хохотнул. Я не оборачивалась. Я смотрела прямо перед собой, в зеркальную стену, где отражалась девушка с белым, как мел, лицом и парень в мешковатой толстовке, который лениво отлепился от зеркала и, не глядя на меня, направился в центр зала.

— Вопросов нет, — сказал Земцов, растягивая слова. — Нестерова, ты идёшь или мне тебя на руках нести?

По залу прокатился смешок. Я оторвала ноги от пола, который вдруг стал вязким, как смола, и вышла в центр. Встала напротив него — на расстоянии вытянутой руки. Подбородок выше. Плечи развёрнуты.

— Обойдусь без твоих рук, — сказала я тихо, но так, чтобы он услышал.

— Ну-ну, — уголок его рта дёрнулся вверх. — Посмотрим.

Аркадий Львович хлопнул в ладоши, и звук этот прокатился по залу, отражаясь от зеркальных стен и высокого потолка.

— А сейчас все по своим занятиям. Репетиции по расписанию, которое висит на доске объявлений, так что потрудитесь ознакомиться заранее, а не бегать потом с вопросами. Нестерова, Земцов — остаётесь. Начинаем сейчас.

Зал начал пустеть быстро, с приглушённым гулом голосов и шарканьем ног по деревянному полу. Лиза, проходя мимо, на секунду задержалась и легко коснулась моего локтя — жест, который в другое время я бы проигнорировала, но сейчас он показался мне единственной точкой опоры в расшатавшемся мире.

— Держись, — шепнула она одними губами и выскользнула в коридор прежде, чем я успела ответить.

Дверь закрылась. Мы остались втроём: я, Земцов и Аркадий Львович, который сидел на стуле у зеркальной стены, положив свою знаменитую палочку поперёк коленей, и смотрел на нас с выражением, которое я не могла расшифровать до конца, — нечто среднее между научным любопытством и жестоким азартом шахматиста, разыгрывающего сложную партию.

— Итак, — произнёс он, растягивая слово, как резину. — «Падение и полёт». Тема номера, который вы представите на Гала-концерте через месяц. Я не буду ставить вам готовую хореографию, не надейтесь. Готовое вы получите, когда докажете, что способны на большее, чем механическое повторение чужих движений. Вы будете создавать этот номер сами — руками, ногами и головами, если они у вас имеются.

Я почувствовала, как внутри растет волнение, которое обычно появлялся перед экзаменами или в те моменты, когда отец звонил и говорил своим усталым голосом: «Кристинка, мама сегодня опять…».

— Нестерова, — продолжал Львович, и его взгляд упёрся в меня, как палец в открытую рану. — Ты классик. В тебя вбита школа, дисциплина, форма, безупречная техника. Ты знаешь, как двигаться правильно, и это знание въелось в твои мышцы так глубоко, что ты уже не можешь двигаться никак иначе. Он, — кивок в сторону Земцова, который стоял, прислонившись плечом к зеркальной стене и засунув руки в карманы мешковатых спортивных штанов, — знает, как двигаться живо. Неправильно, некрасиво с точки зрения классической школы, но живо. Ваша задача — найти общий язык. Буквально. Телесно. Потому что номер, который вы будете танцевать, — это доверие. Про то, как один человек отпускает контроль, а другой — ловит его в падении.

Он сделал паузу, во время которой я услышала, как бьётся моё сердце — гулко, часто, словно отсчитывая секунды до катастрофы.

— Первое упражнение базовое. Земцов, ты ведёшь. Нестерова — ты закрываешь глаза и падаешь. Он ловит. Вы должны научится доверять друг другу. Вопросы есть?

Вопросов у меня было столько, что они не помещались в горле, но я молчала, потому что любой заданный вопрос стал бы признанием слабости, а показывать слабость перед Земцовым я не собиралась.

— Вопросов, снова, нет, — ответил за нас обоих Женя, и в его голосе прозвучала та особенная ленивая интонация, которая появляется у людей, привыкших, что мир сам прогнётся под них.

— Вот и прекрасно. Начинайте.

Аркадий Львович откинулся на спинку стула и сложил руки на груди, всем своим видом показывая, что он здесь — наблюдатель, а не участник, и что происходящее дальше зависит только от нас двоих.

Земцов вытащил руки из карманов, потянулся всем телом, хрустнув шеей, и сделал несколько шагов в мою сторону. Остановился на расстоянии вытянутой руки — ровно на той границе, которую я подсознательно считала своей безопасной зоной.

— Слышала, что сказал Львович? — спросил он, глядя на меня сверху вниз, и в его светло-карих глазах плясали те самые искры, которые я уже видела вчера в коридоре. — Закрываешь глаза и падаешь. Я ловлю.

— Я слышала, — ответила я ровно, стараясь, чтобы голос звучал так же безупречно, как моя осанка.

— Тогда в чём дело?

Я не ответила, потому что не знала, как объяснить человеку, который никогда не боялся упасть, что падение — это не просто физическое действие, а целая философия, которая у меня в семье означает только одно: разбиться и не собраться обратно.

Вместо ответа я закрыла глаза.

Темнота навалилась сразу — плотная, удушливая, наполненная звуками, которые в обычном состоянии я не замечала. Где-то наверху гудела вентиляция, монотонно и нудно. В коридоре за дверью раздавались чьи-то шаги и приглушённый смех — студенты расходились по другим залам. Пол под ногами едва заметно вибрировал от чьей-то репетиции этажом ниже. И где-то совсем близко — дыхание Земцова, ровное, спокойное, как будто он не собирался ловить меня вовсе, а просто стоял и ждал неизвестно чего.

— На счёт три, — произнёс его голос, и я вздрогнула от того, насколько близко он прозвучал. — Раз.

Я напряглась. Все мышцы разом, от пальцев ног до шеи, превратились в единый стальной стержень, который невозможно согнуть или сломать. Я не умею расслабляться — это правда, которую я знаю о себе давно и которой даже горжусь в глубине души, потому что расслабленность означает уязвимость, а уязвимость означает боль.

— Два.

Я почувствовала, как по спине между лопаток стекает капля пота. Медленно, щекотно, невыносимо. Я хотела отдёрнуть плечом, но не могла пошевелиться. Падать. Он хочет, чтобы я падала. В руки человека, которого я знаю меньше суток и который вчера в коридоре сказал мне: «Я буду держать тебя так, чтобы тебе было страшно».

— Три.

Я качнулась вперёд — едва заметно, миллиметр, не больше. Пятки словно приросли к полу, приклеились намертво, и никакая сила воли не могла оторвать их от деревянных досок. Тело предало меня самым простым и самым унизительным образом — оно просто отказалось выполнять команду.

Я открыла глаза.

Земцов стоял ровно там же, где и секунду назад. Руки он так и не поднял, не приготовился ловить, не сделал ни одного движения, которое говорило бы о готовности подхватить падающего человека. Он просто смотрел на меня — с той же ленивой полуулыбкой, которая, как я начинала подозревать, была его стандартным выражением лица.

— И это всё? — спросил он, и в голосе прозвучало не разочарование даже, а скука. — Я думал, великая Нестерова умеет выполнять простые команды. Закрыть глаза, упасть — что тут сложного?

— Я не умею падать, — сказала я, и слова эти прозвучали глухо, словно их произнёс кто-то другой, стоящий за моей спиной.

— Не умеешь или не хочешь?

— Не твоё дело.

Он хмыкнул и сделал шаг в сторону, разрывая ту невидимую линию, которая нас соединяла.

— Знаешь, в чём твоя проблема, Нестерова? Ты боишься не падения. Ты боишься, что тебя не поймают. А поскольку ты не доверяешь никому, включая себя, ты предпочитаешь вообще не падать. Удобная позиция, ничего не скажешь. Жаль только, что с такой позицией ты никогда не взлетишь.

Я почувствовала, как к щекам приливает кровь — горячая, обжигающая, выдающая мою ярость с головой.

— Ты меня не знаешь, Земцов. Ты не знаешь, через что я прошла и почему я стою здесь. Так что оставь свои дешёвые психологические разборы для курсовых, которые ты пишешь за деньги.

Он не обиделся. Даже бровью не повёл. Только улыбка стала чуть шире, обнажив ровные зубы, и в этой улыбке мне почудилось что-то опасное, как оскал сытого хищника, который пока не голоден, но уже присматривается к добыче.

— Ого, — протянул он. — У Снежной Королевы есть зубы. А я уж думал, ты только улыбаться и кланяться умеешь.

— Нестерова, Земцов, — голос Аркадия Львовича разрезал воздух, как скальпель. — Личные разборки оставьте за дверями этого зала. Здесь вы работаете. Земцов, ты ведёшь — значит, твоя задача создать условия, при которых партнёрша сможет тебе довериться. Пока что ты с этой задачей не справляешься. Нестерова, твоя задача — отпустить контроль хотя бы на три секунды. Пока что ты с этой задачей не справляешься тоже. У вас месяц до Гала. Месяц, за который вы должны либо научиться работать вместе, либо с позором вылететь с концерта. Второй вариант меня не устраивает, потому что я вложил в эту идею свою репутацию. Поэтому делаем ещё раз. И ещё. И ещё. Пока не получится.

Он снова постучал палочкой по полу, и этот звук прозвучал как приговор.

Земцов вернулся на исходную позицию — ровно напротив меня, на расстоянии вытянутой руки. Улыбка исчезла с его лица, уступив место сосредоточенному выражению, которое делало его старше и жёстче.

— Слушай сюда, Нестерова, — сказал он тихо, так, чтобы Львович не слышал. — Мне плевать на твои тараканы. Мне плевать, почему ты не умеешь падать и кому ты не доверяешь. Но если ты сейчас не сделаешь то, что сказал Львович, я потеряю этот номер, а я не собираюсь терять номер из-за того, что моя партнёрша — деревянная кукла без нервов.

— Тогда лови, — сказала я и закрыла глаза.

На этот раз я не стала ждать счёта. Я просто качнулась назад — резко, всем телом, не оставляя себе времени на страх или сомнения. Я падала так, как падала в детстве с качелей, когда ещё верила, что внизу меня обязательно подхватят папины руки. Я падала, уже зная, что никаких рук там не будет, но всё равно позволяя себе этот короткий миг полёта перед ударом о землю.

Мои лопатки коснулись пола с глухим стуком, который эхом разнёсся по пустому залу. Позвоночник принял удар — не сильный, но ощутимый, такой, который завтра напомнит о себе синяком и ноющей болью при каждом плие. Воздух вышел из лёгких коротким выдохом, и я осталась лежать на спине, глядя в высокий потолок с окнами, за которыми плыли редкие февральские облака.

Земцов не поймал меня.

Он стоял надо мной — я видела его перевёрнутое лицо, заслонившее часть потолка, — и смотрел сверху вниз с выражением, которое я не могла расшифровать. Удивление? Уважение? Раздражение? Всё вместе, перемешанное в равных пропорциях.

— Ты идиотка, Нестерова? — сказал он беззлобно, почти устало. — Я же не успел подготовиться.

— А ты должен быть готов всегда, — ответила я, не поднимаясь с пола. — Ты же у нас лучший в своём стиле, разве нет? Ловить падающих людей — базовый навык для того, кто танцует контемпорари.

Он ничего не ответил. Только протянул руку — ладонью вверх. Я посмотрела на эту руку, на длинные пальцы с короткими аккуратными ногтями и старыми ссадинами на костяшках, и почувствовала, как внутри поднимается волна почти животного удовлетворения. Я упала. Я сделала это сама, на своих условиях, не дав ему возможности поймать меня или не поймать. Я выбрала падение, и это было моё решение, а не его.

Я проигнорировала протянутую руку и поднялась сама — одним плавным движением, в котором было больше балетной выучки, чем реальной необходимости. Отряхнула спину от невидимой пыли, поправила пучок и повернулась к Аркадию Львовичу.

— Упражнение выполнено. Я упала. Что дальше?

Старик смотрел на меня долго, не мигая, и в его выцветших глазах мелькнуло что-то похожее на интерес.

— На сегодня достаточно, — произнёс он наконец и поднялся со стула. — Нестерова, ты сделала первый шаг, хоть и не так, как я предполагал, не напрягай больше спину сегодня. Земцов, ты не облажался только потому, что облажаться было не в чем — она не дала тебе шанса. Завтра в десять утра здесь же. Будем ставить первый фрагмент номера.

Он развернулся и пошёл к двери, постукивая палочкой по полу в такт своим шагам. У порога остановился и, не оборачиваясь, добавил:

— И да, ребята. То, что вы сейчас устроили, — это детская игра в песочнице по сравнению с тем, что вас ждёт дальше. Номер, который вы будете танцевать, требует не просто доверия, а полного растворения друг в друге. Если через неделю вы не научитесь хотя бы смотреть в одну сторону, я сниму вас с Гала и поставлю кого-нибудь более вменяемого. Например, Воронцова и Соболеву. Они хотя бы не попытаются убить друг друга на первой же репетиции.

Дверь закрылась и мы остались вдвоём.

Тишина в зале стояла такая плотная, что, казалось, её можно потрогать руками. Я не смотрела на Земцова — я смотрела в зеркальную стену, где отражалась высокая худая девушка с идеальной осанкой и красными пятнами на скулах, которые выдавали её состояние красноречивее любых слов.

— Значит, так, — произнёс Женя за моей спиной, и я услышала, как он поднимает с пола свой рюкзак. — Ты решила, что лучше разбиться самой, чем дать мне шанс тебя поймать. Интересная стратегия, Нестерова. Самоубийственная, но интересная.

Я не ответила.

— Только знаешь, что? — продолжил он, и его шаги приблизились, а потом удалились в сторону двери. — Падать на пол в пустом зале легко. Попробуй упасть по-настоящему, когда на тебя смотрит полный зал людей, а от твоего падения зависит, получишь ли ты место в театре или вылетишь отсюда с позором.

Я резко обернулась, но он уже вышел. Дверь мягко закрылась за его спиной, отрезая меня от коридора и от возможности ответить.

Я осталась одна в огромном зеркальном зале, где каждая поверхность отражала моё лицо — раскрасневшееся, злое, с влажными глазами, которые я отказывалась признавать заплаканными. Где-то глубоко внутри, под слоями многолетней дисциплины и выученного равнодушия, ворочалось что-то тёмное и горячее — чувство, которому я пока не могла подобрать названия.

Я сжала кулаки так, что ногти впились в ладони, оставляя белые полумесяцы, которые через минуту нальются красным. Подбородок выше. Плечи развернуть. В зеркале напротив стояла Снежная Королева — безупречная, холодная, мёртвая статуя, у которой не дрожал ни один мускул на лице.

Глава 4

Женя

Я вышел из зала и не оглянулся, потому что оглядываться было не на что и не на кого. В зеркальной стене мелькнуло моё собственное отражение — взъерошенный, в мятой толстовке, с красным пятном на скуле не то от духоты, не то от злости, — и исчезло, как только я толкнул дверь в коридор.

В коридоре было пусто и гулко. Где-то в конце, за поворотом, слышались голоса и смех — кажется, младшие курсы вывалились из столовой и теперь шли в раздевалку, обсуждая что-то своё, не имеющее ко мне никакого отношения. Я пошёл в противоположную сторону, к пожарной лестнице, где можно было спокойно покурить, не нарываясь на осуждающие взгляды педагогов и не отвечая на дурацкие вопросы вроде «Земцов, ты чего такой злой?». Я не был злым. Я был раздражённым, а это разные вещи, хотя окружающие обычно не видели разницы.

Металлическая дверь пожарной лестницы поддалась с привычным скрипом, и я шагнул на холодную площадку, где пахло старой краской и чужими сигаретами. Достал свою пачку, выбил одну, закурил и привалился плечом к стене, глядя в узкое окно, за которым медленно и беззвучно падал февральский снег.

Нестерова.

Я выдохнул дым в приоткрытую створку и попытался разложить по полочкам то, что только что произошло в зале, но мысли рассыпались.

Она упала не в мои руки, а на пол, спиной, с глухим стуком, который до сих пор стоял у меня в ушах, хотя прошло уже минут десять. Я должен был её поймать — это было моё задание, моя часть работы. Но я не успел, потому что она не дала мне времени. Просто качнулась назад с закрытыми глазами и рухнула, как подкошенная, даже не попытавшись смягчить падение или хотя бы предупредить меня взглядом.

Идиотка.

Я затянулся снова, глубже, чем следовало, и почувствовал, как дым обжигает горло. Самое паршивое было в том, что она сделала это намеренно. Я видел её лицо за секунду до падения — она не испугалась, не зажмурилась, не напряглась в ожидании удара. Она просто отключилась от происходящего, как отключают свет в комнате, и позволила телу лететь вниз, словно это не её тело, словно ей всё равно, разобьётся оно или нет. Я не мог понять этого.

Обычно люди падают только тогда, когда уверены, что их поймают, или когда у них нет другого выхода. Я сам падал сотни раз — на тренировках, на баттлах, на уличных площадках, где асфальт обдирает кожу до крови, а зрители свистят и улюлюкают, ожидая, поднимешься ты или останешься лежать. Но я всегда знал, что поднимусь. Это было частью игры, частью танца, частью того, что делало меня мной. А она упала так, будто ей было всё равно, поднимется она или нет. И это бесило меня сильнее, чем все её колкости вместе взятые.

Я докурил, затушил окурок о подоконник и выбросил в жестянку из-под газировки, которую кто-то заботливо оставил на окне. Снег за стеклом всё падал, ровный и равнодушный, как метроном, отсчитывающий время до завтрашней репетиции.

Завтра в десять утра мне снова придётся стоять напротив неё в зале номер один и делать вид, что меня не бесит каждое её движение — идеальное, выверенное, лишённое жизни, как у заводной куклы. Завтра Львович начнёт ставить первый фрагмент номера, и мне придётся прикасаться к ней снова, ловить её, вести её, чувствовать её дыхание и напряжение её мышц, которые никогда не расслабляются, даже когда она стоит на месте.

От одной мысли об этом хотелось закурить снова, но я заставил себя отлепиться от стены и выйти обратно в коридор.

Квартира, в которой я жил последние полтора года, находилась в двадцати минутах ходьбы от Академии — старый дом с облупившейся штукатуркой и вечно неработающим лифтом, зато с толстыми стенами и отсутствием соседей, которые интересовались бы твоей жизнью. Я поднялся на четвёртый этаж пешком, перепрыгивая через ступеньку по привычке, открыл дверь и вошёл в прихожую, где меня встретил только запах вчерашней еды.

Курсовая по экономике для третьекурсника, который заплатил вперёд и теперь ждал результат к пятнице, висела на мне мёртвым грузом. Я сбросил кроссовки, не развязывая шнурков, прошёл на кухню и сел за стол, где на экране ноутбука мигал курсор в открытом документе. Цифры, таблицы, анализ рентабельности — всё это было таким далёким от танца, от Академии, от девушки с идеальной осанкой и пустыми глазами, что на секунду показалось спасением.

Я положил пальцы на клавиатуру и начал печатать, но уже через десять минут понял, что пишу не то. Вместо формул и выводов в голову лезли обрывки сегодняшней репетиции: как она стояла напротив меня с подбородком, задранным так высоко, будто смотрела не на меня, а сквозь, куда-то в стену за моей спиной. Как её плечи даже в падении оставались развёрнутыми, словно она не падала на пол, а опускалась в реверансе перед невидимой публикой. Как она проигнорировала мою руку, когда я протянул её, чтобы помочь подняться, и встала сама, одним плавным движением, в котором было больше гордости, чем во всём моём танцевальном опыте.

Я не знал, что с этим делать.

Я привык, что люди делятся на понятные категории. Мажоры, которым я пишу курсовые, — ленивые и самодовольные, но предсказуемые. Педагоги в Академии — каждый со своим пунктиком, но все читаемые на раз-два. Однокурсники — кто-то талантливый, кто-то бездарный. А Нестерова не вписывалась ни в одну категорию, и это раздражало, как заноза под ногтем, которую невозможно вытащить, потому что не видишь, где она засела.

Я захлопнул ноутбук, отодвинул его в сторону и потянулся за телефоном. Три сообщения от матери, как всегда в это время дня. «Женя, ты обедал?» «Женя, папа спрашивает, когда ты заедешь». «Женя, не игнорируй мать, я же волнуюсь». Я смахнул их все, не читая, и открыл переписку с Лизой Ветровой — рыжей хохотушкой с современного отделения, которая иногда подкидывала мне заказы на курсовые и была единственным человеком в Академии, с кем можно было поговорить, не надевая маску.

«Слушай, Ветрова, — написал я, глядя на мигающий курсор в пустом поле ввода. — Что ты знаешь про Нестерову?»

Ответ пришёл через минуту.

«А что, зацепила? :)»

Я хмыкнул и покачал головой. Лиза была неисправима.

«Нет. Просто пытаюсь понять, как с ней работать. Она ведёт себя так, будто я грязь под её пуантами».

Три точки мигали долго — Лиза явно раздумывала, что ответить.

«Слушай, Жень, я не знаю точно. Она ни с кем не сближается, никому ничего не рассказывает, ходит как тень. Говорят, у неё с семьёй что-то сложное, но это только слухи. Я не лезу, если честно. Она не из тех, кому можно задавать личные вопросы».

Я прочитал сообщение дважды и отложил телефон. Значит, не только мне она казалась непроницаемой. Это немного успокаивало — хотя бы в этом я не был исключением.

Я встал, подошёл к окну и посмотрел на улицу, где снег уже покрыл всё тонким белым слоем, превращая серый февральский пейзаж во что-то почти красивое. В голове крутилась одна мысль, которую я не мог отогнать, как ни пытался.

Она упала без моей помощи, без страховки, без надежды на то, что кто-то подхватит. И когда она лежала на полу и смотрела в потолок, в её глазах не было ни страха, ни боли, ни

злости — только странная, почти пугающая пустота, как у человека, который давно перестал ждать от жизни чего-то хорошего.

Я не знал, что делать с этой информацией, и не был уверен, что вообще хочу что-то с ней делать. Моя задача — станцевать номер и не облажаться перед Львовичем. Моя цель — получить диплом и открыть свою студию, где я буду учить пацанов с района двигаться так, как чувствуют они, а не так, как требуют правила. Нестерова была препятствием на этом пути, не больше. Удобным, неудобным — неважно. Препятствием, которое нужно преодолеть, а не разгадывать.

Я отвернулся от окна, вернулся к столу и снова открыл ноутбук. Курсовая сама себя не напишет, а деньги за неё нужны, чтобы оплатить аренду в конце месяца. Я положил пальцы на клавиатуру и заставил себя работать, выкинув из головы и зеркальный зал, и холодные глаза, и глухой стук падения, который всё ещё звучал где-то на грани слышимости.

Завтра будет новый день и новая репетиция, и завтра я, возможно, пойму, как пробить эту броню просто для того, чтобы мы могли сделать свою работу и разойтись каждый в свою жизнь.

Глава 5

Кристина

Я снова проснулась за минуту до будильника, как всегда, и первые несколько секунд просто лежала, глядя в серый потолок с трещиной, которая шла от люстры к окну и напоминала высохшее русло реки.

В теле не было боли — только ноющая усталость в пояснице, там, где вчера пол принял мой вес. Я нащупала это место ладонью, провела по позвоночнику. Ничего серьёзного, просто напоминание о том, что я сделала в зале номер один. О том, как упала, не дав ему шанса поймать меня, и о том, что он сказал потом. «Попробуй упасть по-настоящему, когда на тебя смотрит полный зал людей, а от твоего падения зависит, получишь ли ты место в театре или вылетишь отсюда с позором».

Я села на кровати, спустила ноги на холодный пол и зависла, глядя на афишу «Жизели» на стене. Он прав. Вчера я упала в пустом зале, где не было никого, кроме нас троих, и даже это далось мне с трудом. А что будет на Гала-концерте, когда в зале соберутся продюсеры, директора театров, педагоги? Смогу ли я тогда отпустить контроль или снова превращусь в статую, которая падает как бревно?

В кухне было пусто и холодно. На плите стояла кастрюля с остатками вчерашнего супа, в раковине — немытая тарелка. Я быстро привела всё в порядок, сделала бутерброд, съела, глядя в окно на заснеженный двор, где дворник в оранжевом жилете лениво скрёб лопатой по асфальту.

В Академию я пришла за сорок минут до начала репетиции. Зал номер один был пуст, зеркальная стена отражала серый утренний свет и мою фигуру. Я встала к станку и начала разминку. Плие — медленно, глубоко, до жжения в мышцах. Батман тандю — носок скользит по полу, вытягиваясь в идеальную линию. Гран батман — нога взлетает вверх, выше, ещё выше, до предела, за которым начинается боль. Тело слушалось идеально, и это было единственное, что я могла контролировать в своей жизни, и я держалась за этот контроль обеими руками.

Ровно в десять дверь распахнулась, и вошёл Аркадий Львович, а за ним, на полшага позади, — Земцов. Выглядел он как обычно: взъерошенный, с тенями под глазами. Наши взгляды встретились в зеркале, он чуть приподнял бровь и отвёл глаза, вставая в центре зала и скрещивая руки на груди.

— Итак, — Львович постучал палочкой по полу. — Вчера вы оба продемонстрировали мне, что ничего не умеете. Сегодня мы начнём ставить первый фрагмент номера. Тема — «Падение и полёт». Первая часть, очевидно, падение. Я хочу, чтобы вы нашли движение, с которого всё начнётся. Не абстрактное упражнение, а живой кусок хореографии.

Он прошёл к музыкальному центру в углу зала и нажал кнопку. Из колонок полилась музыка — низкая, тягучая, с рваным ритмом и долгими паузами, в которых слышалось только дыхание невидимого вокалиста. Что-то современное, мрачное, совсем не похожее на то, под что я привыкла танцевать.

— Это трек, под который вы будете работать, — сказал Львович. — Называется «Gravity». Слушайте и ищите себя в нём.

Я закрыла глаза и позволила музыке войти в меня. Она была чужой, непривычной — никаких чётких акцентов, никакой структуры, к которой я привыкла в классике. Она дышала, спотыкалась, замирала и снова срывалась вниз, как человек, который падает с обрыва и цепляется за камни. Это было страшно и странно, и я не понимала, как вписать своё тело в этот хаос.

— Нестерова, — голос Львовича вырвал меня из размышлений. — Ты классик. Твоё падение должно начинаться с отказа от контроля. Представь, что ты стоишь на краю и смотришь вниз. Чего ты боишься больше всего?

Разбиться, подумала я, но не сказала вслух. Вместо ответа я встала в пятую позицию — пятки вместе, носки врозь, спина прямая, подбородок вверх. Идеальная форма, за которой ничего нет.

— Я не боюсь, — сказала я ровно.

Земцов хмыкнул за моей спиной.

— Врёшь. Ты боишься всего на свете, просто не показываешь. Потому что, если покажешь, твоя идеальная картинка треснет, а ты этого не переживёшь.

Я резко обернулась к нему.

— Если ты такой умный, может, покажешь, как надо?

— Легко.

Он вышел в центр зала, встал напротив зеркальной стены и на секунду замер, прикрыв глаза, а потом он начал двигаться.

Это не было похоже ни на что, что я видела раньше. Его тело ломалось и перетекало одновременно — резкие, угловатые движения сменялись плавными волнами, которые проходили от плеч до кончиков пальцев. Он не танцевал под музыку, он танцевал внутри неё, заполняя паузы своим дыханием, ломая ритм и собирая его заново. И в какой-то момент он упал — не так, как падают в классике, не красиво и контролируемо, а резко, всем телом, словно его толкнули в спину. Его ладони встретили пол, пружиня, и он замер в низкой точке, тяжело дыша, глядя на своё отражение в зеркале.

В зале повисла тишина, только музыка продолжала звучать — теперь уже совсем тихо, как эхо.

— Вот это падение, — сказал Львович, и в его голосе прозвучало что-то похожее на удовлетворение. — Нестерова, видела? Никакой техники, никакой школы, но в этом больше правды, чем во всех твоих арабесках вместе взятых. Теперь ты.

Я сглотнула и вышла в центр. Земцов поднялся с пола одним плавным движением и отошёл к стене, уступая мне место, но я чувствовала его взгляд — цепкий, изучающий, без тени насмешки.

Музыка заиграла снова. Я закрыла глаза и попыталась представить, что я — не я. Что я не Кристина Нестерова с идеальной осанкой и мёртвой техникой, а кто-то другой, кто умеет отпускать контроль и падать в пустоту, не думая о том, кто и как его поймает. Я качнулась вперёд, потом назад, подняла руки, позволила им двигаться свободно, без выученных балетных позиций. Это было неудобно, неестественно, как говорить на чужом языке, запинаясь на каждом слове.

— Стоп, — резко сказал Львович. — Нестерова, ты не танцуешь, ты мучаешься. Это видно. Ты пытаешься скопировать его, но тебе не нужно копировать. Ты должна найти своё падение.

— У неё нет своего падения, — подал голос Земцов от стены. — У неё только чужие движения, которые она выучила наизусть. Она как музыкальная шкатулка — заводишь, и она играет одно и то же, пока пружина не кончится.

Я резко обернулась к нему, чувствуя, как кровь приливает к щекам.

— А ты у нас, значит, великий импровизатор? Падаешь красиво, а поймать человека не можешь. Может, дело не во мне, а в том, что ты привык танцевать один и плевать на партнёра?

Он отлепился от стены и сделал несколько шагов ко мне, сокращая расстояние до опасного минимума.

— Я не могу поймать того, кто не даёт себя поймать. Ты падаешь так, будто заранее знаешь, что я тебя уроню. Ты даже не пробуешь довериться. Тебе проще разбиться самой и потом обвинить во всём меня, чем признать, что ты просто боишься.

— Я не боюсь! — выкрикнула я, и голос сорвался, выдавая меня с головой.

— Боишься, — сказал он тише, но твёрже. — Боишься, и это нормально. Страшно всем. Но если ты не перестанешь прятаться за свою технику, за свою идеальную осанку, за своё «я сама», у нас ничего не выйдет. Ни номера, ни дуэта, ни этого чёртова гала-концерта.

Мы стояли лицом к лицу, разделённые расстоянием вытянутой руки, и воздух между нами искрил так, что, казалось, ещё слово — и вспыхнет пожар. Я видела, как бьётся жилка на его шее, как сжаты его челюсти, как в глазах пляшет не ленивое веселье, а настоящая, живая злость. И он видел мою злость тоже — она горела на моих скулах красными пятнами, дрожала в пальцах, сжатых в кулаки, звенела в голосе.

— Хватит! — голос Львовича хлестнул по залу, и мы оба замерли. — Вы не на базаре. Сейчас вы будете работать вместе, нравится вам это или нет. Земцов, встань за спину Нестеровой. Нестерова, закрой глаза. Я хочу, чтобы ты падала в его руки до тех пор, пока твоё тело не запомнит, что он тебя ловит. Пока это не станет рефлексом, а не выбором.

Я развернулась к Земцову спиной и закрыла глаза. Его дыхание за моим плечом, шорох кроссовок по полу, музыка, которая всё ещё звучала из колонок.

— На счёт три, — сказал он. — Раз.

Я напряглась, как всегда.

— Два.

Плечи закаменели.

— Три.

Я качнулась назад — и снова слишком жёстко, слишком контролируемо. Его руки упёрлись в мои лопатки, останавливая падение грубым толчком, и я пошатнулась вперёд, открывая глаза.

— Ты опять, — сказал он с досадой. — Ты вообще слышишь, что тебе говорят? Расслабься. Ты не на экзамене, тебе не ставят оценку за правильность падения.

— Я не умею расслабляться, — вырвалось у меня раньше, чем я успела подумать.

Он помолчал. Я слышала его дыхание за спиной — ровное, но слишком частое для человека, который просто выполняет упражнение. Потом он обошёл меня и встал лицом к лицу, заглядывая в глаза.

— Тогда давай иначе, — сказал он. — Не думай о падении. Думай о том, что будет после. Представь, что ты уже упала, уже разбилась, уже пережила самое страшное. И теперь тебе нечего бояться, потому что хуже уже не будет.

Я смотрела на него и не могла отвести взгляд. В его светло-карих глазах не было ни жалости, ни превосходства — только непонятное мне упрямство, как у человека, который решил во что бы то ни стало доказать что-то самому себе.

— Попробуй, — сказал он тише. — Всего один раз. Просто попробуй.

Музыка всё ещё звучала — теперь она казалась ближе, понятнее, словно я наконец расслышала в ней что-то своё. Я представила, что уже упала. Что всё самое страшное уже случилось, и мне нечего больше терять. Что мир не рухнул, и я всё ещё дышу, и пол под ногами всё ещё держит меня.

— Раз.

Я отпустила плечи.

— Два.

Я отпустила живот, диафрагму, тот невидимый панцирь, который носила с восьми лет.

— Три.

Я упала. По-настоящему — всем телом, без контроля, без страховки, отдавая себя гравитации и человеку, который стоял за моей спиной. Его руки подхватили меня под лопатки — твёрдо, уверенно, без колебаний, — и я повисла в них, глядя в потолок. Воздух вышел из лёгких сам собой, и я почувствовала, как по щеке ползёт что-то мокрое.

Женя держал меня дольше, чем требовалось для упражнения. Его пальцы вжимались в ткань моей футболки, дыхание щекотало макушку, и где-то там, за моей спиной, его сердце билось быстро-быстро, как будто он тоже падал вместе со мной.

— Вот так, — сказал он тихо, и голос прозвучал глухо, словно из-под воды. — Теперь мы можем начинать.

Он вернул меня в вертикальное положение медленно, плавно, давая ногам привыкнуть к опоре. Я не обернулась, не посмотрела на него, не сказала ни слова. Просто отошла на шаг и поправила пучок, хотя он не нуждался в поправке.

Аркадий Львович постучал палочкой по полу.

— Теперь у нас есть начало. Нестерова, твоё падение — это первый такт номера. Земцов, твоя задача — не просто поймать её, а сделать это частью танца. Сейчас вы поймали контакт. Завтра будем строить из него хореографию.

Он выключил музыку, и в зале повисла тишина, в которой было слышно только наше дыхание — моё, сбитое и поверхностное, и его, ровное, но слишком частое для человека, который просто выполнял упражнение.

— На сегодня свободны, — сказал Львович и вышел, постукивая палочкой по полу.

Мы остались вдвоём в огромном зеркальном зале. Я всё ещё не смотрела на него, но чувствовала его взгляд кожей. Он не говорил ни слова, и я не говорила. Тишина между нами была плотной, наэлектризованной, как воздух перед грозой.

Первым не выдержал он.

— Нестерова.

Я подняла глаза и встретилась с ним взглядом в зеркале. Он стоял у двери, закинув рюкзак на плечо, и смотрел на меня без улыбки.

— То, что ты сделала сегодня, — это только начало. Завтра будет труднее. Готова?

Я подняла подбородок выше.

— А ты?

Уголок его рта дёрнулся вверх — не насмешливо, а почти одобрительно, — и он вышел, закрыв за собой дверь.

Я осталась одна в зеркальном зале, где каждая поверхность отражала девушку с красными пятнами на скулах и влажными дорожками на щеках, которые она отказывалась называть слезами. Где-то глубоко внутри, под слоями льда и дисциплины, трещина стала чуть шире. И я не знала, смогу ли заделать её обратно.

Интерлюдия 2.

Ольга

(Кристине двенадцать)

Я просыпаюсь лицом на столе. Щека прилипла к клеёнке, на которой ещё с вечера остались крошки от хлеба и круглый след от стакана. В затылке тяжело, во рту сухо и горько, язык как будто наждак. Я поднимаю голову и вижу перед собой пустую бутылку.

Я не помню, как уснула, не помню, как открывала эту бутылку. Вчерашний вечер распался на куски, и я могу собрать только самые крупные: вот я сижу на кухне, вот за окном темнеет, вот Паша что-то говорит, и я не отвечаю.

Больше ничего.

На часах — половина двенадцатого. Кристина в школе, Паша на работе. В квартире тихо, только капает вода из крана, и этот звук раздражает меня настолько, что я встаю и закручиваю кран до упора. Бутылку ставлю в пакет с мусором — в самый низ, под очистки, чтобы не было видно. Мою стакан. Протираю стол. Открываю окно, хотя на улице декабрь и холод пробирает до костей; пусть проветрится, пусть выветрится этот запах, который я уже не чувствую, но который чувствуют все остальные.

Я делаю это каждый день. Руки помнят порядок действий: бутылка — в мусор, стакан — в раковину, окно — настежь, стол — протереть. Я могу делать это с закрытыми глазами. Иногда мне кажется, что я и делаю это с закрытыми глазами — потому что не хочу видеть, что именно я убираю.

Я не алкоголичка. Алкоголички валяются под забором, у них трясутся руки, они не помнят своего имени и просят милостыню на опохмел. Я не такая. Я просто пью, чтобы уснуть. Это разные вещи.

Я иду в ванную, умываюсь ледяной водой, смотрю на себя в зеркало. Оттуда смотрит женщина тридцати восьми лет, с бледным лицом, с припухшими веками, с волосами, которые давно пора покрасить. Я отвожу взгляд, потому что знаю эту женщину слишком хорошо, чтобы рассматривать её.

Днём я пытаюсь быть нормальной. Я стираю бельё, готовлю суп, даже вытираю пыль с серванта. Когда Кристина возвращается из школы, я уже на кухне — сижу за столом с чашкой чая, как будто ничего не было. Она входит, снимает куртку, здоровается — тихо, не глядя на меня. Я спрашиваю про уроки, она отвечает односложно: нормально, пять по русскому, четыре по математике. Я говорю: молодец, она кивает и уходит в свою комнату.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.